

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Серия основана в 2002 году

ИГОРЬ ГУБЕРМАН

Гарики и проза

Москва  2018

УДК 82-2  
ББК 84(2Рос-Рус)6-5  
Г 93

**Губерман, Игорь.**

Г 93      Гарики и проза / Игорь Губерман. — Москва : Издательство «Э», 2018. — 736 с. — (Библиотека всемирной литературы).

ISBN 978-5-699-62924-4

Игорь Миронович Губерман — автор знаменитых «гариков» — афористичных и сатирических четверостиший. В течение всех «застойных» лет его стихи ходили в списках или в устном переложении по всей нашей огромной родине, как проявление современного фольклора. Если читали его стихи и кто-то спрашивал, кем написаны, друзья отвечали: «Слова народные, автора скоро выпустят».

Острая и беспощадная политическая сатира легко запоминающихся строк не могла не обратить на себя внимание властей. По сфабрикованному делу автор был осужден на пять лет лагерей. Но и отбывая срок, он писал «гарики» и собирал материал для автобиографической книги прозы «Прогулки вокруг барака». Именно она вошла в данный сборник.

«Я бы ни с кем его не сравнивала... он свободный и бесстрашный человек, который много себе позволяет...» (Дина Рубина)

УДК 82-2  
ББК 84(2Рос-Рус)6-5

© И. Губерман, 2017  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Э», 2018

ISBN 978-5-699-62924-4

## *Содержание*

<i>Михаил Юдсон</i> СТРАНА ГУБЕРМАНИЯ	7
ГАРИКИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ	21
КАМЕРНЫЕ ГАРИКИ	216
ПРОГУЛКИ ВОКРУГ БАРАКА	296
СИБИРСКИЙ ДНЕВНИК	501
МОСКОВСКИЙ ДНЕВНИК	567
ГАРИКИ ИЗ АТЛАНТИДЫ	596



*Михаил Юдсон*

## СТРАНА ГУБЕРМАНИЯ

В начале было слово в самиздате, и слово было — «гарики». Четверостишия Игоря Губермана, возникшие в застойное советское безвременье, перепечатывались тайком, и переписывались за ночь от руки, и заучивались вхруст — в них братски обнимались краткость и талант, а самородный юмор соседствовал с самоиронией.

Живя легко и сиротливо,  
блажен, как пальма на болоте,  
еврей славянского разлива,  
антисемит без крайней плоти.

Когда же Игоря Мироновича отправили на тюремные нары (за «ворованный воздух», как сморозил Мандельштам), ему и горя было мало. Губерман остался верен себе и в темнице сырой, сотворив «Камерные гарики» — дивное хождение по мукам и радостям, свод притч четырехстрочных.

Не знаю вида я красивой,  
чем в час, когда взошла луна,  
в тюремной камере в России  
зимой на волю из окна.

О, вечная российская зима и воля!.. А потом поэт по этапу попал на лагерную зону, куда империи часто отсылают эзопов с зонами — в рабство общих работ. Упорный Губерман воспринял советскую каторгу как увлекательную езду в неизвестное, попутно породив поразительную прозу — «Прогулки вокруг барака». Про это эковское произведение Булат Окуджава написал: «элегическая поведаальность». И верно — элегия, полная гелия. Сквозь острожную мглу и отчаяние размеренно и солнечно сочатся счастье бытия, радужность надежд, вера в любовь к ближнему. И яростная,

языческая, Ярилова тяга свободного произрастания в краю снежных пирамид. Ведь поэзия, как известно — та же добычка Ра, священная жертва, ежели принять сибирский лагерь за египетский плен. И когда Верховный вертухай потребует поэта с вещами на выход, то отзовется Губерман:

Поэзия — нет дела бесполезнее  
в житейской деловитой круговерти,  
но все, что не исполнено поэзии,  
бесследно исчезает после смерти.

Объемный том, который сейчас перед вами, сложен из шести блоков-разделов, и каждый — отдельная книга. Губерманово шестикнижие! Это своеобразное избранное, творческий отчет Игоря Мироновича за период примерно года с 1962-го по март 1988-го, когда наступила эра полураспада Советского Союза, а поэта увлек маршрут «Москва — Иерусалим».

Мы едем! И сердце разбитое  
колотится в грудь, обмирая.  
Прости нас, Россия немытая,  
и здравствуй, небритый Израиль!

Сначала, в стройном хронологическом порядке, нас ждут «Гарики на каждый день», здесь многое — из ранних опытов, сразу выделивших автора из общего ряда. В стихии русского стиха, в его снегах и завываниях Губерману оказалось на редкость тепло и домашне, он проторил тропу к своей берлоге, нашел свою нишу — придумал «гарики». Четыре ступеньки вниз — и верх взят! Ирония, сарказм, афористичность, многосмысленность при внешней доступности, легкость заглатывания (как из граненого сосуда) сделали «гарики» подпольной всенародной радостью. Их разносили письменно и устно, воздушно-капельным путем, и — как апофеоз — частушечно пели под струнный инструмент, беспочвенно причисляя к фольклору. Причем каждый — от запойных читателей до абстинентов стиха — видел, слышал, чуял в них свое и разное, уж кому что отпущено. Кстати, в этом смысле Губерман — истинно национальный поэт (как говаривал довлатовский герой русской еврейской нации).

Свежесть чувств, половодье мыслей, оперенность рифм, классичность формы и абсолютная раскованность содержания «гариков» необоримо притягивали народные массы, но вызывали законное раздражение властей.

Полна неграмотных ученых  
и добросовестных предателей  
страна счастливых заключенных  
и удрученных надзирателей.

И ведь на одном дыхании выдано, без единой запятой — ну куда это, товарищи, годится, сразу хочется этого гаврика тащить и не пущать! Но до поры до времени не трогали, и гулял Губерман на свободе, и писал себе на славу, а нам — на каждый день:

Во что я верю, жизнь любя?  
Ведь невозможно жить не веря.  
Я верю в случай и в себя,  
и в неизбежность стука в двери.

Вот в лето 1979-е как по писаному и произошло:

Я взял табак, сложил белье —  
к чему ненужные печали?  
Сбылось пророчество мое,  
и в дверь однажды постучали.

Тук-тук — тут начинается «Тюремный дневник», который писался в камере и на пересылках в 1979–1980 годах, и был сперва Загорск–Волоколамск, а после Ржев — Калуга — Рязань — Челябинск — Красноярск. Ритмичность камерного перестука и стук «стольпинских» колес слышны здесь: время—место, география—биография, свет—тьма.

Колеса, о стыки стуча неспроста,  
мотив извлекают из рельса:  
держись и крепись, впереди темнота,  
пока ни на что не надейся.

На реках волоколамских сидели мы и плакали... «Гарики» размножались в неволе, когда хмарь и боль окутывали тело и вынимали душу. Но Губерман есть Губерман, он быстро навел порядок, развесил арфы по кустам, вдобавок отогнал напасть и описал процесс. В своем гуманно-бойнном, немного кафкианском духе, то есть гар-

монизация окружающего хаоса и поверка алгеброй абсурда. «Гарики» как бы дают команду: «На первый-четвертый рассчитайсь!» — и колонной топают к читателю. И мы наблюдаем чудо: страшный тюремный морок-воронок, рассматриваемый в таком странном ракурсе, с сарказмом и иронией — покидает камеру и, неверморно каркая, отлетает. Словно камера расширяет периметр, и становится ясно: да вся страна — тюряга, крытка под небом голубым.

В камере, от дыма серо-синей,  
тонешь, как в запое и гульбе,  
здесь я ощутил себя в России  
и ее почувствовал в себе.

Читаешь про то, как человек, не дожидаясь, пока некто нагорно свистнет и срок скостят, преодолевает страдания заточения и продолжает творить, мужественно надеясь на себя и далеких близких, памятуя: «выжил, ибо смеялся» — и получаешь не шок, а катарсис.

Тюремные насупленные своды  
весьма обогащают бытие,  
неведомо дыхание свободы  
тому, кто не утрачивал ее.

Здесь в короб собраны «гарики», написанные в годы горести, когда, казалось бы, все желания кажутся опавшей листвой, но как же чисты помыслами и нежны строчки о женщинах!

Без удержу нас тянет на огонь,  
а там уже, в тюрьме или в больнице,  
с любовью снится женская ладонь,  
молившая тебя остановиться.

Вообще женщины у Губермана — это отдельная сага, состоящая из множества «гариков», Младшая Эдда на пару со Старшей. Пан сатирический и нимфы в хороводе — обычный антураж его мифологии. Можно даже тиснуть, как выражаются в лагере, «рóман» о жизни на Олимпе.

Ага, вот и лагерьем запахло, к суровой прозе клонит, пошли «Прогулки вокруг барака», написанные за колючкой, в поселке Хайрюзовка Красноярского края, в олимпийском 1980 году. Теплое оказалось местечко для творчества и чудотворства — болото, засыпанное опилками. Но Губерман и там нагуливал строку.

Зачин у книги такой: «Еще в самом начале века замечательно заметил кто-то, что российский интеллигент, если повезет ему пробыть неделю в полицейском участке, то при первой же возможности он пишет большую книгу о перенесенных им страданиях. Так что я исключением не являюсь».

Что ж, пришла глухая пора поговорить про прозу. Точнее, научнее сказать (на носу очки, а в душе осень) — за прозу. Тем, кто лазал, пробирался прозой поэтов — белым коридором петербургских зим, — понравится сей трагично-смешной, мемуарно-философский роман в рассказах (а также в новеллах, эссе, притчах и прочих декамеронных отступлениях).

Безусловно, это снова дневник, «запись своих текущих впечатлений», как точно обозначил автор. Именно текущих! Проза Губермана напоминает веселую, стремительную, порой дольную, а часто горную реку. Она плещет, звенит, струится, скачет через пороги, но и глубина ей свойственна, и ритмичность течения. Вольно и плавно несется сказ о сроку Игорева, о невольничьей участи и брезгливом ужасе опущенности, о крысятничестве и человечности, и тут же рядом — байки о пайке и шконке. О, школа выживания, баллада о баланде! По какой шкале мерить лагерную долю Губермана — год за три, за век-волкодав?

Река речи в «Прогулках» широка, гулка и заповедна — от тихих заводей еврейского интеллектуала до крутых матерных перекатов лагерного «мужика». Внимательный читатель и оценит звуковое разнообразие (эх, феня-фонетика, музыка языка зэка!), и уловит основу дневника узника — упрямое николай-морозовское: «Писать, писать!» На поверхности, первослойно — славное повествование остроумного, врожденно талантливое, благоприобретенно мудрого человека о своем движении в замкнуто-лагерном пространстве-времени и «в людях» (жуткое горьковское выражение), загнанных туда. Но если легонько поскрести, хотя бы и затылок, сразу обнаружится, что роман-то — палимпсест, и проступают пластами подтексты, успевай усваивать. Потому как грех «гонять порожняк». Так выражается Губерман о прозе без послания, без откровения, без благой вести (сравните: «грохочущие мимо литературные порожняки», — жаловался всю дорогу бедный Сигизмунд Кржижановский).

Да не всякому, увы, дается проза — часто, вглядываясь, мы видим заключенный в обложку бездарный подневольный труд каналармейца. У Губермана зато, куда ни ткни, ткань текста живая и светится — обитающие в ней микроорганизмы фосфоресцируют — блеск плюс плеск слововолны. А какова затягивающая сила — не

оторваться от страниц! С них нисходит любимое многими сочетание прожитого и прочитанного, коктейль Борхеса — «то, что мы называем творчеством, на самом деле смесь забвения и воспоминаний о том, что мы прочитали». Описываемый, самовито выстраиваемый Губерманом мир — отнюдь не бережно подстриженный газон и даже не луг в мае, по которому ходят женщины-иконы, но тяжкое болото, присыпанное опилками, бывший женский лагерь тридцатых годов.

«Прогулки вокруг барака» — проза очень непростая, пластичная, плотская (некий нектар чифирия с амброзией курева), она про-smолена тьмою проглоченных книг и пропитана их светом. Здесь вновь происходит лепка дневника — и поражает насыщенность повседневности, глубина как бы поверхностных баек.

Кажется, еще Малларме мечтал о такой книге, чтобы можно было читать с начала и с конца, с любой страницы, чтобы проза извивалась, «как кольца змеи». Потом Павич опробовал это в своем «Словаре», назвав нелинейным письмом. Так и Губермановы «Прогулки» структурно сложены из множества жизнеспособных клеток — они читаются отовсюду (и географически тож). Проза-пазл. Попав на любую страницу, двигаясь по ее тропам, ты везде, очарованный странник, находишь искомый барачный уют, ложе на нарах, тебя ждет уютный очаг в кочегарке, чарка чифирия с интеллектуального устатку и приветливый собеседник — эдакий угодивший в лагерь персонаж Джерома Джерома, джентльмен в телогрейке: «Присядьте, я расскажу вам одну историю».

Способ же самого письма прост, как Прустов куст — почкование, цветение, разбегание ветвящихся ассоциаций — на просвет эта проза напоминает разноцветную модель ДНК. Доникнув, что три героя «Прогулок» — москвич Писатель, коллекционер Деляга и хохмач Бездельник — сливаются в едином Авторе, и уяснив, что «здесь и связанного повествования не будет», просвещенный читатель начинает ловить кайф от языка и мыслей, вглядываться в лагерную прозоодежду книги, сравнивать с иными авторитетами.

Скажем, для Шаламова с его кошмарно-однотонным шаманством, камланием, вбиваемым в мозг, как ледяное кайло, лагерь — это ад. По Солженицыну, лагерь — это опыт, данный, всученный нам в ощущениях, напряженное, до рвущихся жил, выживание, робинзонада. «Один день Ивана Денисовича» — это голый человек на голой заключенной земле, бесправный номер, ходячая русская буква Ща с мечтами о второй каше, обреченный и подневольный каменщик, и лишь звук плывет кандалный: «дин-день, ван-ден» —

звон рельса на морозе на подъеме. У Губермана лагерь — это быт. Жисть-жестянка. Книжка Бытия. Его лагерный мир с нумерованными кругами, Рвами и Злыми Щелями — абсурдный, опрокинутый, как стопка, — не чудовищен. Правда, и пишет он о современном ему лагере, а не о тех гибельных «истребительно-трудовых», где были наши деды и отцы. По Губерману, нынче ада нет (это утешает), разве что захудалое районное отделение — райад, с закоулочками судеб. А все дело в людях — «повсюдное животное», как Игорь Миронович их ласково именует, — которые водятся, роятся вокруг в согласье с Сартром: «Ад — это другие». И надо в набитой доверху камере вставать до петухов — чтобы писать, писать во временной тишине... Довлатов, показавший нам лагерь с вышки, осовелыми глазами вохра, выдохнул: «Ад — это мы сами». «Да ну, заладили, ад, ад, — успокаивает Губерман. — Я там был, мед-чифир пил и видел: нет его! Всюду жизнь. Какой простор!»

Игорь Миронович щедро выплескивает на читателя звуки, запахи, цвета, шум и ярость мира. Да, объясняет он, все предопределено, но мы — не пешки в клетке. Существуют, хотя бы теоретически, свобода и воля. Доступно путешествие на край доски. Опять же — ирония лечит, если еще не все отбили. А главное — надо надеяться и верить, бороться и писать, и пригрядёт в конце концов счастливый конец — выпустят из лагеря на поселение. Приплыли — паром не нужен!

Таким образом, мы причаливаем к пристани этой прозы — пристальной, чуть печальной, но обязательно светлой. И попадаем по сходням страниц в следующую стихотворную часть, «Сибирский дневник». Он писался в 1981–1984 годах в «маленьком сибирском поселке с историческим названием — Бородино. Деревню, давшую ему название, основали полторы сотни лет назад солдаты Семеновского полка, пригнанные сюда на поселение после знаменитых волнений в полку еще за пять лет до Сенатской площади». Теперь же здесь свою ударную пятилетку, народно-трудовую вахту должен был доматывать Игорь Миронович Губерман. Давящая атмосфера ссылки его не смущала. Огорчала разве что недостаточность книг — в библиотеку, суки, ссыльных не записывали (ишь, филон александрский!), ну да Бог простит.

Агасферно неприхотливый, Губерман и в Бородине обжился, сложил баню, завел огород, приехала жена Тата — это уже выглядело как глоток самогонной свободы, пролог к кушам, предбанник Чистилища.

Судьбы моей причудливое устье  
внезапно пролегло через тюрьму  
в глухое, как Герасим, захоластье,  
где я благополучен, как Муму.

После лагерной схимы на «химии» была лафа, фактически райский пусть не сад, так огород. Домашние соленья! Буколическая идиллия! Водка на лимонной корочке! И «гарики» полились струйно:

Я снизил бытие свое до быта,  
я весь теперь в земной моей судьбе,  
и прошлое настолько мной забыто,  
что крылья раздражают при ходьбе.

А уж народ, как водится, всем миром Губермана полюбил. Шел он однажды, дух изгнания, за хлебом (бородинским!), а на лавочке у ворот сидел знакомый шофер Петя с бутылкой портвейна, и стояли рядом старушки-соседки. И одна старушка, глядя Губерману вслед, сказала: «Ведь они какие люди хорошие». На что Петя-шофер ответил авторитетно: «Хуевых не содут». Понятно, что это притча, и апостол Петр, ключарь у врат, был совершенно прав в произношении: в каббалистической иерархии «сод» — это высший уровень, потаенный смысл, достигаемый лишь посвященными, «нехуевыми» людьми.

Вообще в «Сибирском дневнике» немало символов библейских:

Целый день читаю я сегодня,  
куча дел забыта и заброшена,  
в нашей уцененной преисподней  
райское блаженство очень дешево.

Или такая вот, крылато развернутая метафора:

В чистилище — дымно, и вобла, и пена;  
чистилище — вроде пивной;  
душа, закурив, исцеляет степенно  
похмелье от жизни земной.

У Губермана и на небе неплохо — там, в облаках, и вобла водится, и из пены кто-нибудь возникает... Но ключевое слово в «сибирских гариках», дробный бородинский рефрен легко находится при вчитывании — душа. Выковыривая это слово, как кусочки смальты, мы можем сложить новую мозаику текста: «Когда в душе

тревога... моей душою озабочен... и давай себе душу погреем... живот души моей болит... душа не в теле обитает... моя апрельская душа... душа лишается невинности... грустная душа изготавляет... когда в душе царит разруха... душа корыстная хотела... то ли такова их душ игра... что частицу души в ней зарыл навсегда... чтоб душу отвести... а странно, что в душе еще доньне... на душе тишина и покой... хотя ни душами, ни лицами... в бутылке души стало меньше сиропа... когда душа уходит в пятки... хотя в душе моей живет поэт... душой и телом не уныл... намечен в избранные души... но покой у меня на душе... на душу навеваает нам листва... когда душа облита ложью... душа, уже рванувшаяся ввысь... душа сметает праха паутину... чтоб душа была свежа... их души дышат ночи в унисон...»  
 Читать это желательно вслух, как единый, слитно расширяющийся «гарик» — к примеру, вот такой:

Ты люби, душа моя, меня,  
 ты уйми, душа моя, тревогу,  
 ты ругай, душа моя, коня,  
 но терпи, душа моя, дорогу.

Периодическое повторение, нанизывание знакового звука, своеобразное заклинание, внушение — возможно, тут таится причина завораживающего воздействия «гариков» на слушателя. Иначе в чем же секрет этого верескового меда — в ереси неслышанной простоты? Почему влачат сладкое иго «гариков», поглощают духовную манну Губермана, отказываясь от хороших и разных горшков с мясом? Мне кажется, что дело в слове, ибо оно для Губермана самоценно и самоцветно. Песчинка мысли обволакивается словесным перламутром, и образуется жемчужина — «гарик», причем с гарниром — в янтаре:

Случайно мне вдруг попадается слово,  
 другими внезапными вдруг обрастает,  
 оно — только семя, кристаллик, основа,  
 а стих загустеет — оно в нем растает.

Есть в этих текстах еще одно ключевое заветное слово — свобода. И дух свободы пронизывает насквозь все собранные тут стихи и прозу.

«Гарик» — это живое порождение могучего народного языка и изысканной книжной речи. «Книги делаются из книг», — утверждает